

Памяти Евгения Петрова

I

Грузовик прыгал по разбитой дороге. Снаряды стучали в ящиках. Мне приходилось все время напрягаться, чтобы не вылететь за борт. От встречных и попутных машин над дорогой стояла густая пыль. Мы мчались в ее душных облаках, черных в середине. Шинель, накинутая на голову, нисколько не защищала от пыли. Под шинелью было еще жарче. Пот лился из-под козырька и щекотал брови. Я видел свой почерневший нос. При каждом толчке с высохших березовых веток маскировки в глаза летели хлопья пыли.

Небо было затянуто сухими серыми тучами, тонкими и жаркими. Вокруг до горизонта стояла очень высокая и необыкновенно густая рожь, уже сильно побелевшая и казавшаяся еще белее на фоне аспидного неба. Во многих местах она была повалена и раскидана вокруг свежих воронок, покрытых внутри сизой окалиной.

Иногда в небе появлялись шестерки или девятки немецких бомбардировщиков. Тогда наш водитель — молоденький сердитый ефрейтор с медалью за Сталинград —

высовывался из окна кабины по пояс и задира­ло лицо вверх. Со сдержанной яростью он рвал рычаг скоростей, нажимал изо всех сил на газ. Машина как будто делала прыжок и еще быстрее нес­лась вперед. А взрывная волна жарко била сзади, валила на пол, и взрывы один за другим зло­веще вставали над рожью в стороне от дороги.

Когда машина останавливалась, и водитель со злым лицом наливал из ведра в кипящий радиатор воду, на западе слышались слитные раскаты ору­дийной пальбы.

Был третий день нашего наступления на Орел. Я вышел из штаба танковой армии после обеда и рассчитывал на одной из попутных машин засветло добраться до передовой. Но так как армия все время находилась в движении, то маршрут мне дали самый приблизительный, а карты у меня не было. Машин по дороге шло очень много, но подходящей для меня не попадалось. Машины забирали меня, везли километра два-три, а потом сворачивали в сторону, так что я опять оставался один на перекрестке и стоял с поднятой рукой, нетерпеливо поджидая попутную машину. Таким образом я уже пере­менил четыре машины, а в промежутках между ними прошел километров шесть пешком. Наконец, мне повезло. Подверну­лась колонна со снарядами. Она шла именно туда, куда мне было нужно.

Между тем начинало смеркаться. Чем ближе к передовой, тем мрачнее становился пейзаж. На каждом шагу виднелись ужасные следы вчерашней битвы. Ветер нес с загаженного, вытоптанного поля смрад неубранных трупов, невероятно быстро разлагавшихся от июльской жары. Возле брошенных среди поля немецких пушек и обгорелых зарядных ящичков валялись кучи пустых гильз. Иногда в поваленной ржи виднелось исковерканное алюминиевое туловище «юнкера» с желтыми и черными крестами и высоко поднятым большим легким хвостом с мельничкой свастики. Всюду лежали раздавленные каски, пулеметные ленты, простреленные железные бочки. На черном от пыли придорожном бурьяне висели лохмотья серо-зеленой одежды. Не было вокруг ни одной пяди земли, на которой бы война не оставила своего мрачного отпечатка.

Но особенно запомнился мне небольшой клочок земли на выезде из одной, сожженной дотла, деревни. Пепел еще курился, под его толстым серым слоем дышал и нежно просвечивал бледно-розовый жар. Обычно из пожара торчат только трубы. Но здесь не было даже труб. Все сровнялось с землей. Лишь одно обугленное дерево косо стояло над печным мусором. Но на том клочке земли, который я увидел на выезде из деревни, не было даже

пепла. Можно было подумать, что на этой земле вообще ничто уже не может существовать, даже огонь. Это была абсолютно мертвая земля, превращенная в черный камень, вся как бы облитая лавой. И на этом мертвом камне лежало два немецких трупа, раздувшихся, оплывших, как будто сделанных из смолы, с белыми лопнувшими глазами и рыжими обгоревшими волосами, прикипевшими к земле. Четыре разбитых танка в разных положениях стояли близко друг к другу — три немецких и один наш, из развороченного люка которого торчала наружу нога в сапоге, подбитом светлыми гвоздями. Немецкая обозная кляча, покрытая зелеными мухами, стояла на дрожащих ногах с крупными разбитыми копытами. Белая, слепая, с длинными зелеными соплями под мордой, она стояла посреди дороги, как привидение. Она не в состоянии была двинуться с места, и машины ее объезжали.

Трое крестьян — старик, старуха и молодая с ребенком за пазухой — торопливо гнали корову и толкали тележку на маленьких железных колесиках, нагруженную узлами. Косясь на трупы и переступая через них, они почти бежали по этой мертвой зоне.

Тотчас за выездом был перекресток, и на нем с поднятой рукой стояла молодая миловидная женщина с портфелем. На ней было хорошо

сшитое синее пальто с широкими внизу рукавами, а на голове надет модный клетчатый платок. Она резко бросалась в глаза несоответствием своей внешности и места, где она находилась. Если бы не пыль, покрывавшая ее с ног до головы, то можно было бы подумать, что она стоит в Москве, где-нибудь на площади Свердлова, и дожидается троллейбуса.

Водитель не склонен был лишний раз останавливаться. Он сделал вид, что не замечает, и хотел проскочить. Я постучал кулаком в кабину. Водитель затормозил.

Она подошла к борту машины и попросила ее подвезти.

— А куда? — спросил я.

— Видите ли, — сказала она с растерянной улыбкой, — теперь я уже, собственно, и сама не знаю — куда. Я разыскиваю одну воинскую часть. Но сейчас все в движении, никто ничего не знает. Я еду в самого утра и никак не доеду. Может быть, вы знаете, где воинская часть... — и она назвала номер полевой почты.

— К сожалению, не знаю.

— Так что же мне делать? — сказала она почти с отчаянием.

— Вы, вероятно, вольнонаемная? Едете к месту службы?

— Нет. Я разыскиваю могилу своего мужа. Он погиб на фронте в марте прошлого года. До сих пор его могила была на территории, занятой немцами. А теперь, когда началось наступление, я надеюсь...

— Пропуск у вас есть?

— Ах, простите. Я все забываю.

Она привычным движением достала из сумочки бумажку и протянула мне. Это был формальный пропуск, выданный штабом фронта на имя Нины Петровны Хрустальной.

— В порядке. Что же это за воинская часть, куда вы едете?

— Истребительный авиационный полк, которым командовал мой покойный муж. Там у меня есть друзья. Мне бы только до них добраться, а там уж... Как же быть? Ужасно дикое положение!

Она посмотрела вокруг прекрасными, зеркальными глазами, в которых было больше горечи, чем страха.

— Может быть, вы мне что-нибудь посоветуете?

— Единственное, что я могу вам предложить, это довести вас до командного пункта той части, куда я сам еду. Возможно, что там знают позывные вашего истребительного полка, и можно будет созвониться. Им известно, что вы едете?

— Конечно. Они меня ждут.

— Так вот. Решайте.

— Хорошо.

Она решительно подобрала пальто и поставила ногу на колесо. Я протянул руку и втащил ее в машину. Она села рядом со мной на свой портфель, уперлась спиной в кабинку, а ногами в ящик со снарядами, и мы поехали, подскакивая на колдобинах. Стемнело. Желтая луна слабо и душно светила в пыльном небе. Со всех сторон на горизонте стали видны пожары. Горели деревни и хлеба, подожженные отступающим врагом. Вместе с запахом гари ветер продолжал нести удушающую, фосфорную вонь трупов. Но иногда в нее врывалась нежная, прохладная струя совсем другого воздуха. Это был легкий, прелестный дух цветущей гречихи.

— Вы посмотрите, — вдруг сказала Нина Петровна громко, желая быть услышанной за грохотом машины. — Ведь это наша родная, орловская земля. Сердце России. Вдумайтесь только в это. Поймите. И вдруг — немцы. Что-то чудовищное! Почему они здесь? По какому праву? Нет, с этим невозможно примириться. Без ярости об этом нельзя подумать. Что они только сделали с нашей землей!

Она сжала кулаки возле рта. Ее прелестное лицо, серое от пыли, смотрело на меня неподвижными глазами, в которых отражалось зарево пожаров.

— Ну, я им не завидую, — сказала она сквозь стиснутые зубы. Быстро вынув из сумочки платок, она стала с силой вытирать лицо, как бы стараясь стереть под глазами пыль. — Они нам за все это заплатят. Абсолютно за все. За каждый клочок нашей испоганенной ими земли. За каждую нашу слезу. Будьте уверены. За каждую!

II

Небо непрерывно светилося. В тучах судорожно подергивались багровые сполохи. Необыкновенно яркие желтые люстры светящихся бомб висели над всем западным горизонтом. Линия фронта тянулась и блестела, как ярко иллюминированное шоссе.

Мы повернули и стали спускаться в темную балку, где шло какое-то быстрое тайное движение множества людей, пушек и танков.

Скоро грузовик остановился.

— Как будто здесь, — сказал водитель, выходя из кабины и осматриваясь.

Мы вылезли, разминая сомлевшие, гудящие ноги. К нам тотчас подошли три темные фигуры с автоматами. На миг нас осветил электрический фонарик и погас.

— Комендантский патруль, — сказал негромкий голос. — Пропуск?

— Затвор, — сказал я.

— Куда следуете, товарищ подполковник?

— В хозяйство Нечаева.

— Тут.

— Проводите меня к начальнику штаба.

— А женщина?

— Со мной.

Небо заметно расчистилось. Луна светила довольно ярко. Левая сторона балки во всю длину была освещена луной. Правая — тонула в тени. Нас повели по теневой стороне. Потом мы стали подниматься по отлогому склону, упиравшемуся в лунное небо, покрытое остатками дневных облаков. На середине склона перед нами вырос большой темный куст. В кусте бегло и четко хлопала пишущая машинка, отзванивая концы строчек. Неторопливый голос диктовал:

— ...и, запятая, обойдя названную высоту с северо-востока, запятая, продвинулись до полотна железной дороги, запятая, где обнаружили...

Патрульный постучал в какую-то дверь. Она приоткрылась. На нас упала полоса затемненного света. Патрульный стал на подножку автобуса, со всех сторон заставленного срубленными сосенками. Он вполголоса доложил о нас.

— Одну минуту, — сказал голос и быстро

додиктовал: —...где обнаружили три неприятельских танка и две самоходные пушки, запятая, прикрывавшие левый фланг отступающего противника. Точка. Войдите!

Мы вошли в автобус, где под крошечной затемненной лампочкой за столиком сидела девушка в пилотке, положив русую голову на громадную каретку своего ундервуда, и уже спала, воспользовавшись минутным перерывом.

— Только, пожалуйста, проходите скорее и закрывайте дверь, а то тут, знаете, и днем и ночью летают, — сказал начальник штаба в габардиновой гимнастерке стального цвета, с двумя орденами — Ленина и Красной Звезды — и белыми танками на широких полевых погонах.

Он погладил себя по мясистой, круглой, наголо выбритой голубой голове, крепко зажмурился и протянул руку за моим удостоверением. Он взял его, приблизил к лампочке под фунтиком из газетной бумаги, надел круглые роговые очки, отчего его темное, красное от загара лица стало вдруг старым и добрым, и, не торопясь, прочитал его два раза от доски до доски. После этого он аккуратно сложил бумагу вчетверо и вручил мне.

— Я знаю, — сказал он, — мне уже сообщили из штаба армии. Как доехали? Благополучно? По

дороге не бомбили? А на нас вчера налетело на марше двенадцать. Вывели из строя шесть человек и одну легковую машину. Начали проявлять активность. Товарищ с вами?

Нина Петровна вынула из сумочки и подала свой пропуск. Полковник прочитал его так же внимательно, затем сложил в четыре раза и вернул, сказав:

— Как же это вы к нам попали? Заблудились? Бывает.

Она коротко рассказала свою историю. Полковник покрутил ручку штабного телефона в кожаном желтом футляре и сказал в трубку:

— Дайте туберозу. Это тубероза? Говорит седьмой. У вас уже есть какая-нибудь связь с Енисеем? Так давайте. Ну, как в Москве? Художественный театр уже возвратился? — обратился он ко мне и сейчас же, не дожидаясь ответа, сказал в трубку: — Это Енисей? Седьмой у аппарата. Это кто? Здравствуйте. Вы уже переселились? Ну, так с новосельем. Слушайте, вот какое дело. Вы к себе никого в гости не ожидаете из тыла? Ждете? Так посылайте машину ко мне, она сидит у меня в автобусе и слушает, как рвутся мины. Некрасиво. Нина Петровна, совершенно точно. Эх вы, джентльмены! Не знаю, как это случилось. Вам

лучше знать. Хорошо. Передам. У вас тихо? У нас пока тоже. Не знаю, что будет завтра. До свиданья.

Он положил трубку и покрутил отбой.

— Так что ж, Нина Петровна, все в порядке. Утречком за вами заедут. А пока не знаю, что вам и предложить. Мы, знаете, на марше. У нас даже палаток при себе нет. Все во втором эшелоне. Спим под кустиками. Можно, конечно, устроить вас здесь, так сказать, в канцелярии. Но только вряд ли вы здесь уснете: то телефон, то машинка.

— Нет-нет, пожалуйста, не беспокойтесь, — сказала Нина Петровна. — Большое вам спасибо. Я лучше побуду на воздухе. Ночь такая теплая.

— В крайнем случае могу вам дать свою шинель. У меня чудесная теплая шинель из генеральского драпа. А что касается вас, товарищ писатель, то вам я тоже советую устроиться где-нибудь тут под кустиком, недалеко от щели. Вздремните. Все равно генерала еще нет. Он объезжает бригады. Танки сейчас как раз занимают исходное положение. Когда генерал приедет, я вам дам знать. Спокойной ночи. Надеюсь, завтра у вас будет масса впечатлений.

— Что-нибудь намечается?

— Да ведь как вам сказать? Наступаем помаленьку. Он, конечно, не хочет, сопротивляется. Приходится драться. Вот он, например, сейчас зацепился за одну речушку. Два километра отсюда. Ну, нам это, конечно, не нравится. Придется завтра его попросить немного подвинуться. Приятных сновидений.

Полковник разбудил машинистку. Она посмотрела на него из-под волос заспанными детскими глазами и сердито положила руки на клавиши. Мы вышли и, выходя, слышали, как он диктовал:

— С красной строки. За истекшие сутки неприятельская авиация проявила большую активность, запятая...

Луна светила еще ярче. На прозрачном лунном небе черно и отчетливо стоял западный гребень балки с кустиками маскировки и фигурой часового, наблюдающего за воздухом. Я раскинул свою большую солдатскую шинель на траве возле щели. Ничуть не жеманясь, Нина Петровна легла на край шинели, положила под голову портфель, поджала ноги и затихла. Я лег на другой край шинели, положил под голову полевую сумку, а ухо прикрыл фуражкой. Все вокруг было сравнительно тихо. Разумеется, настолько тихо, насколько это может быть ночью, перед атакой, в двух километрах от

противника. Артиллерийский огонь почти прекратился. С нашей и с немецкой стороны стреляло всего несколько пушек. Снаряды пролетали высоко над нами. Их регулярный шум был похож на звук заржавленного флюгера и почти не беспокоил. Изредка немец пускал по гребню нашей балки одну или две тяжелые мины. Они с отвратительным кряканьем разрывались, наполняя балку запахом жженого целлулоида. Но это был не прицельный, а так называемый тревожащий огонь, который — как мы с Ниной Петровной заметили — никого не тревожил. Далеко по лунному небу иногда начинали бегать розовые звездочки зениток. Стрекотал вдалеке танк. Но за всеми этими звуками таилась такая настороженная тишина, что спать совершенно не было сил. От скуки я часто курил, свертывая толстые папиросы из сухого табака, который прокалывал бумажку. Огонь спички казался мне громадным, как костер. Он освещал всю балку. И каждый раз, когда я закуривал, сердитый голос кричал откуда-то:

— А ну, там, полегче с огоньком. А то здесь все время летает и летает.

Нина Петровна все время ворочалась, не находя себе удобной позы. Наконец, она села, обхватила колени руками и положила голову на колени.

— Что ж вы не спите? — сказал я. — Спите!

Она повернула руку к луне и посмотрела на большие часы-браслет.

— Ноль часов двадцать две минуты, — сказала она, очень громко зевая. — Абсолютно не в состоянии заснуть.

— Вам, наверное, неудобно лежать на покатом.

— Я умею спать где угодно. Не в том дело. Но вы представляете, какое у меня сейчас состояние? У нас нынче июль сорок третьего, а мой муж погиб в марте сорок второго. Считайте: шестнадцать месяцев. И каждый день я неотступно думала об одном: когда я наконец увижу его могилу. И вот завтра... вы понимаете... Может быть, даже нынче... Ох, если бы вы знали, как это трудно переживать. Места себе не нахожу. Знаете, мы с ним так чудесно жили, — вдруг сказала Нина Петровна так просто и так доверчиво, как можно только говорить с полужнакомым человеком в потемках и притом в не вполне обычных обстоятельствах. — У него был простой, веселый нрав. С ним было очень легко и приятно жить. На мою долю выпало большое, хотя и недолгое счастье любить его и быть любимой, — продолжала она, неподвижно глядя прямо перед собой, как бы сказывая

длинную старую сказку. — Он был моим самым лучшим товарищем, самым любимым, дорогим другом. Он писал мне с войны не слишком часто, но аккуратно. Эти письма были для меня всем. Я ими дышала. Каждое письмо подтверждало мне, что он жив. Мне казалось, что без его писем я умру. И вот эти письма однажды прекратились. Я, конечно, хорошо понимала, что такое война. Давно, с самых первых ее дней, я приготовилась ко всему самому худшему. Но когда оно — это самое худшее — случилось, я не поверила — до того неправдоподобна, противоестественно, чудовищна была мысль, что он мертв, что его уже не существует на свете. Совсем не существует. Просто нет и больше не будет. Ни завтра, ни послезавтра — никогда. Ужасаясь и не веря своим глазам, я прочитала извещение несколько раз подряд. Потом меня охватило оцепенение. Но сейчас же вслед за оцепенением я почувствовала потребность немедленной деятельности. Мне казалось, что надо сейчас же, не теряя ни секунды, куда-то бежать, телеграфировать, писать, ехать, выяснять. Мне казалось, что я еще могу как-то спасти, вернуть, поправить что-то. И вместе с тем со всей ужасающей ясностью я понимала, что это непоправимо.

III

Я быстро надела валенки, шубу, повязалась платком, стала искать сумочку, деньги, карандаш. «Но, главное, чтобы о моем несчастье не узнал никто, — почему-то все время думала я. — Не надо, чтобы это знали другие. Это — мое. И я все сделаю сама». А что я должна была сделать, я и сама не знала.

Я осторожно заперла свою комнату и в сенях положила ключ за кадку с водой. Я слышала, как хозяйка возится в кухне с бидонами. Я боялась, что она меня окликнет. Но, слава богу, она не окликнула.

Я вышла во двор. Кончался март. Но стужа была, как в январе. Я забыла, зачем я вышла. Вместо того чтобы пройти на улицу, я повернула в другую сторону и пошла через двор назад к Волге. Во дворе зимовала заваленная сугробом лодка. По старому, твердому снегу я пошла через огород к обрыву. «Поклонись Волге», — сказал Андрей, когда мы прощались в январе месяце в Москве. Теперь я вспомнила эти слова. Это были его последние слова. Он произнес их уже после того, как мы простились, в последний раз поцеловались и он — в короткой кожаной шубе, с большим планшетом через плечо и маленьким чемоданом в руке — спускался по широкой

лестнице гостиницы «Москва». Я стояла на площадке и смотрела вниз, в широкий пролет, где на поворотах мелькала его фигура, толстая от шубы и от меховых сапог. Вдруг он остановился, задрал голову и, озорно блеснув синими глазами, крикнул: «Поклонись Волге!» У него был сильный, густой голос, и говорил он, как истый волжанин, с ударением на «о». «Поклонюсь непременно!» — крикнула я весело. Звук наших голосов в последний раз смешался и прошумел по широким вестибюлям и пролетам гостиницы.

Я вернулась в наш номер. Впрочем, он уже был не наш. Дверь была открыта настежь. Две горничные прибирали постель и мели сор. Но в умывальной еще был беспорядок и слышался теплый запах душистого мыла, одеколona и трубочного табака «Золотое руно». Здесь только что Андрей брился, по своему обыкновению не выпуская изо рта трубки.

Ах, если бы вы знали, какие три чудесных дня провели мы с Андреем в этом номере! Мы встретились в Москве совершенно случайно, не стовариваясь. Меня послали из Куйбышева в Москву в главную контору Чермета по делам нашего завода, а он приехал с фронта получить из рук Калинина свою золотую звездочку. Можно было подумать, что судьба, перед тем как разлучить нас навсегда, подарила нам три дня полного, незабываемого счастья. И вот они

прошли — эти три дня. Андрей уехал. Да и мне пора было складывать вещи: срок моей командировки кончился.

Как грустно, как одиноко было досиживать последние часы в нашем номере, который был уже не ваш. Но разве можно сравнить это одиночество с тем, какое я испытывала тогда, стоя среди сугробов над Волгой!

За Волгой горел невероятно яркий закат. На него больно было смотреть, а ледяной восточный ветер еще пуще раздувал его красное, желтое, зеленое пламя, охватившее полгоризонта. Я забыла дома варешки. Руки мои совершенно окоченели. Пальцы не сгибались. Я изо всех сил прижимала их к груди. Я не отрываясь смотрела на запад. Мне казалось, что там пылает сама война. Синие тени танков — казалось мне — проносились взад и вперед над горизонтом. Подергивались зарницы артиллерийского боя. Огонь рвался из соломенных крыш. Рушились стропила. И все это совершалось в подавляющем, сводящем с ума безмолвии.

Я вернулась домой и, не зажигая огня, легла на свою койку. Как была — в шубе и валенках, — я легла лицом к стенке. Меня знобило. Я крепко поджала ноги и, продолжая прижимать руки к груди, безостановочно повторяла: «Какое горе, какое горе, какое горе». Вдруг я испугалась, что

меня услышат. Тогда я стала шептать про себя все то же: «Какое горе, какое горе». Однако скоро я забылась и начала говорить опять громко. Но меня никто не слышал. Я была одна во всем мире, наедине со своим горем, к которому я еще не привыкла и всю глубину которого даже еще как следует не поняла. Это были ужасные часы. Ужасные потому, что то, что случилось со мною и с ним, продолжало оставаться для меня — несмотря на всю свою очевидность и естественность — невероятным, неестественным, диким, бесчеловечным. «Как же это так? Что же это такое? — думала я, постепенно согреваясь, конечно, не такими словами, но такими мыслями. — Вот был чудесный, неповторимый человек. Мы так любили друг друга. Нам так хорошо было вместе, в нашем молодом мире. У нас могли быть детишки — веселая, дружная семья. Нам бы с ним вместе жить да жить. А вот он погиб. Я больше никогда в жизни не увижу его, не поцелую, не услышу его голоса. Он мертв. Его нет. Он исчез. Его просто больше не существует. И самое ужасное в том, что с каждым днем он будет слабеть в моей памяти. Будет как будто все отдаляться и отдаляться от меня. О том, что его больше не существует, я узнала лишь сегодня. А в действительности его уже нет на свете две недели, пока шло извещение. Но ведь для меня его не стало гораздо раньше. Он исчез для меня в январе, в гостинице „Москва“, в тот

миг, когда я в последний раз увидела его на последнем повороте лестницы. И каждая минута уносит и будет уносить от меня все быстрее и быстрее частицы его, потому что разве в состоянии человеческая память угнаться за временем? Вот, например, его голос... Какой он был?» Страшно признаться, но я уже не совсем точно помнила его голос. Я его представляла, но услышать его в себе уже не могла.

Так, изводя себя воспоминаниями, я провела свою первую сиротскую ночь.

Было семь часов утра. Я могла еще отдыхать до восьми. Но больше не было сил оставаться одной. Я умылась в сенях ледяной водой и вычистила зубы. Хозяйка выглянула из кухни.

— Это вы, Нина Петровна?

— Да, это я.

— А я думала, что вы нынче опять не ночевали дома.

Я действительно часто не ночевала дома, оставаясь на заводе, в цехе. Но хозяйка не верила этому. Она думала, что я где-то гуляю.

— Нет, я сегодня ночевала дома, — сказала я.

Я не любила своей хозяйки. Это была сварливая, недоброжелательная мещанка. Она считала, что сделала для меня величайшее одолжение, сдав мне за двести рублей в месяц каморку с косым низким потолком, оклеенным желтыми газетами. Она смотрела на меня, как на беженку. Она презирала меня за то, что я — жена Героя Советского Союза — работаю на заводе и приношу домой так немного продуктов. Первое время она учила меня жить, но, получив отпор, стала донимать мелкими придирками. Кроме того, она потихоньку таскала мой сахар и отпивала мое молоко. Она входила в мою комнату, когда меня не было дома, рылась в моих вещах, читала мои письма. Это, конечно, были мелочи. Я старалась их не замечать. Но иногда меня это сильно злило. Я мечтала найти себе другой угол.

Я положила извещение в сумочку, чтобы хозяйка в мое отсутствие не прочла его, заперла комнату и положила ключ за бочку.

— Что-то вы, Нина Петровна, нынче рано собрались, — сказала хозяйка. — Ай работы много?

— Работы хватает, — сказала я.

— Сводку вчерашнюю слышали?

— Не слыхала.

— И я не слыхала.

Она глубоко вздохнула и собрала губы в оборочку.

— Говорят, опять что-то неладно под Севастополем. Не знаете?

— Не знаю.

— Да... Дела.

На этот раз она особенно раздражала меня. С Крымом и Севастополем у меня были связаны самые лучшие воспоминания моей жизни. И у меня сердце обливалось кровью... но это не важно.

Когда я проходила через контрольную будку, вахтер остановил меня и потребовал пропуск. Это был хорошо мне знакомый старичок, инвалид Сергей Сергеевич. Он меня отлично знал и никогда не спрашивал у меня пропуск. Я с удивлением остановилась.

— Батюшки! — воскликнул Сергей Сергеевич.
— Да ведь это наша Нина Петровна.

— Не узнали?

— Не узнал. Обмишурился. Богатой быть. Проходите, добрейшая, проходите.

Выйдя на территорию завода, я остановилась и посмотрелась в зеркальце. Как непохоже было мое лицо на лицо той девчонки, которая сравнительно так недавно — всего какие-нибудь два года тому назад — под знойным крымским солнцем ехала на линейке из Севастополя в Георгиевский монастырь! Нехорошее, желтое, со следами бессонной ночи. Неужели это были мои щеки, мои губы, мой лоб? Нет, это была не я. Это была какая-то очень родная, но еще совсем незнакомая, новая женщина со странными глазами под шерстяным платком, вдова Героя Советского Союза Хрусталева. «Вдова». Как страшно назвать себя первый раз этим словом, как больно!

IV

Так началась моя новая жизнь, в которой не было ничего нового, кроме того, что теперь я была вдовой. Жизнь моя с этого времени как бы разделилась на две жизни. Одна была простая, грубая и ясная, жизнь сегодняшнего дня, другая — жизнь воспоминаний. Я жила одновременно этими двумя жизнями. Они не сливались во мне. Они как-то текли одна сквозь другую. Теперь я почти каждый день ночевала в цехе. Мне было мучительно оставаться одной в своей каморке, загроможденной хозяйкиными сундуками, дрянными этажерками с множеством старомодных безвкусных безделушек, с какими-то никому не нужными пятнистыми раковинами, бронзовыми собаками, гранеными хрустальными яйцами, в которых эта комната отражалась сотней крошечных изображений со всей ее скукой и чепухой.

С поразительной ясностью помню я первый день моего вдовства. Помню, как, одеревеневшая от горя, я шла через заводской двор, заваленный металлическими отходами и необрунным снегом.

До войны здесь были кавалерийские казармы. Теперь в длинных конюшнях помещались цехи. Не заходя в контору, я отправилась прямо в

роликовый цех, который недавно перешел на обработку новой детали. Я открыла набухшую дверь, и тотчас — как всегда — меня охватило ветром и сонным шумом станков.

Ничего не изменилось здесь со вчерашнего дня. Так же в синих утренних сумерках сияли голые тысячесвечовые лампы. Так же под ногами по канавкам бежала отработанная эмульсия, отсвечивая перламутром. Так же с точильных камней внутри автоматов сыпались искры. Так же, возвышаясь над своим станком, стояла на специальном ящике маленькая ремесленница Муся, в большой черной шинели с подвернутыми рукавами, из-под которой выглядывали ножки в чулках и поверх чулок еще в носках, напущенных бубликами на новые тапочки. Так же строго и повелительно смотрели на меня военные плакаты и лозунги.

Все было по-старому. Только я одна была новая, со своим новым горем. Но об этом горе не знал никто.

Я подошла к Мусе и поздоровалась. Девочка кивнула головой, не отводя глаз от бункера станка, куда она прилежно, равномерно сыпала из горсти маленькие стальные цилиндрики — ролики — ту новую деталь, на обработку которой перешел цех. В то же время Муся другой рукой набирала из корзины следующую порцию

роликов. Когда же из правой руки в бункер упал последний ролик, девочка ловко повернулась влоборота и, не потеряв ни одной секунды времени, стала высыпать в бункер из левой руки, а пустую правую тотчас отвела назад и опустила в корзину, набирая новую порцию роликов.

Это была новость!

Некоторое время я стояла возле Муси, любясь точностью и быстротой ее движений.

— Молодец, Муся. Давно придумала?

Она с досадой помотала головой и ответила не сразу.

— Сегодня придумала, — сказала она нетерпеливо. — Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, — продолжала она шевелить пухлыми губами.

Я сразу поняла. Она считала ролики по десяткам и боялась сбиться со счета. Я вытерла рукавом ее хорошенький носик, запачканный сажей. Она мельком взглянула на меня краешком глаза и гордо подняла подбородок. Это я тоже поняла. Она похвасталась. Вот, дескать, какая я. И правда, Муся была чудесная девчушка.

Однажды к нам на завод приехали

иностранные журналисты. Сытые, гладкие, красные от русских морозов, в легких, но теплых шубах, в меховых перчатках и толстых канадских башмаках, дымя сигаретами, они шли вместе с директором нашего завода и с переводчицей в леопардовом жакете по обледенелому цеху, фантастически озаренному багровым пламенем костров.

Проходя мимо Муси, они остановились и некоторое время с любопытством наблюдали, как она работает. Вероятно, эта смешная и хорошенькая русская девочка-ремесленница с испачканным носиком, которая стояла у станка на ящике в большой черной шинели, заинтересовала их. Они выразили желание поговорить с Мусей. Директор, улыбнувшись, похлопал Мусю по спине.

— Здорово, Муся. Как дела?

Она повернула к нему свое сосредоточенное, нахмуренное личико подростка с запачканным носом. Некоторое время она беззвучно шевелила пухлыми губами, про себя считая ролики по десяткам, а потом сказала:

— Не мешайте. Я занята.

И отвернулась к станку, продолжая прилежно сыпать ролики в бункер из своей маленькой